Беспокойная юность

Автор:
Константин Паустовский

Беспокойная юность

Константин Георгиевич Паустовский

Повесть о жизни #2

…Нет ничего человечнее слез от любви, нет ничего, что бы так сильно и сладко разрывало сердце. И нет ничего омерзительнее, чем равнодушие человека к своей стране, ее прошлому, настоящему и будущему. К ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее селениям и людям, будь они гении или деревенские сапожники. Автобиографическая «Повесть о жизни» – это размышления Константина Паустовского, вошедшие в шесть книг. Вниманию читателя предлагается вторая книга «Беспокойная юность».

Константин Паустовский

Повесть о жизни. Беспокойная юность

«Здесь живет никто»

На дверях у профессора Гилярова была прибита медная дощечка с надписью: «Здесь живет никто».

Гиляров читал студентам Киевского университета лекции по истории философии. Седой, небритый, в мешковатом люстриновом пиджаке, обсыпанном табачным пеплом, он торопливо подымался на кафедру, сжимал ее края

жилистыми руками и начинал говорить – глухо, неразборчиво, будто нехотя.

За окнами аудитории горели позолотой и никак не могли догореть киевские сады.

Осень в Киеве всегда была затяжная. Южное лето накапливало в городских садах столько солнечного жара, зелени и запаха цветов, что ему было жаль расставаться с этим богатством и уступать место осени. Почти каждый год лето вмешивалось в распорядок дней и оттягивало свой уход.

Как только Гиляров начинал говорить, мы, студенты, уже ничего не замечали вокруг. Мы следили за неясным бормотаньем профессора, завороженные чудом человеческой мысли. Гиляров раскрывал ее перед нами неторопливо, почти сердясь. Великие эпохи перекликались одна с другой. Нас не оставляло ощущение, что поток человеческой мысли нельзя разъять на части, что почти невозможно проследить, где кончается философия и начинается поэзия, а где поэзия переходит в обыкновенную жизнь.

Иногда Гиляров вынимал из оттопыренного кармана пиджака томик стихов с оттиснутым на переплете филином – птицей мудрости – и отрывисто прочитывал несколько строк, скрепляя ими свои речи философа:

…Если б нынче свой путь

Совершить наше солнце забыло, —

Завтра целый бы мир озарила

Мысль безумца какого-нибудь[1 - «Если б нынче свой путь…» — Из стихотворения французского поэта П.-Ж. Беранже «Безумцы» в переводе В. Курочкина. В оригинале: «Если б только земли нашей путь…»].

Изредка щетина на щеках у Гилярова топорщилась и прищуренные глаза смеялись. Так было, когда Гиляров произнес перед нами речь о познании самого себя. После этой речи у меня появилась вера в безграничную силу человеческого сознания.

Гиляров просто кричал на нас. Он приказывал нам не зарывать наших возможностей в землю. Надо чертовски трудиться над собой, извлекать из себя

все, что в тебе заложено. Так опытный дирижер открывает в оркестре все звуки и заставляет самого упрямого оркестранта довести до полного выражения любой инструмент.

«Человек, – говорил Гиляров, – должен осмыслить, обогатить и украсить жизнь».

Идеализм Гилярова был окрашен горечью и постоянным сожалением об его постепенном закате. Среди многих выражений Гилярова мне запомнились слова «о последней вечерней заре идеализма и его предсмертных мыслях».

В этом старом профессоре, похожем внешне на Эмиля Золя, было много презрения к благополучному обывателю и либеральной интеллигенции того времени.

Это вязалось с медной дощечкой на его дверях о ничтожестве человека. Мы понимали, конечно, что дощечку эту Гиляров повесил назло своим благопристойным соседям.

Гиляров говорил об обогащении жизни человеком. Но мы не знали, каким образом добиться этого. Вскоре я пришел к выводу, что для этого нужно с наибольшей полнотой выразить себя в своей кровной связи с народом. Но как? В чем? Самым верным путем казалось мне писательство. Так родилась мысль о нем, как об единственной моей жизненной дороге.

С тех пор началась моя взрослая жизнь, – часто трудная, реже – радостная, но всегда беспокойная и настолько разнообразная, что можно легко запутаться, вспоминая о ней.

Моя юность началась в последних классах гимназии и окончилась вместе с Первой мировой войной. Она окончилась, может быть, раньше, чем следовало. Но на долю моего поколения выпало столько войн, переворотов, испытаний, надежд, труда и радости, что всего этого хватило бы на несколько поколений наших предков.

За время, равное обращению Юпитера вокруг Солнца, мы пережили так много, что от одного воспоминания об этом сжимается сердце. Наши потомки будут, конечно, завидовать нам, участникам и свидетелям великих переломов в судьбе человечества.

Университет был средоточием передовой мысли в городе. Поначалу я, как и большинство новичков, дичился в университете и приходил в замешательство от встреч со старыми, особенно с «вечными студентами». Эти бородатые люди в потертых расстегнутых тужурках смотрели на нас, первокурсников, как на бессмысленных щенят.

Кроме того, после гимназии я долго не мог привыкнуть, что слушать лекции вовсе не обязательно и в часы университетских занятий можно безнаказанно сидеть дома над книгами или бродить по городу.

Постепенно я привык к университету и полюбил его. Но полюбил не лекции и профессоров (талантливых профессоров было немного), а самый характер студенческой жизни.

Лекции шли своим порядком в аудиториях, а студенческая – очень бурная и шумная – жизнь шла тоже своим порядком, независимо от лекций, в длинных и темных университетских коридорах.

В этих коридорах весь день кипели споры, шумели сходки, собирались землячества и фракции. Коридоры тонули в табачном дыму.

Впервые я узнал о резких неистовых противоречиях между большевиками и эсерами и меньшевиками, о бундовцах, дашнаках, «щирых» украинцах и партии «Паолей Цион». Но случалось, что представители всех этих партий объединялись против одного общего врага – студентов-«белоподкладочников», членов черносотенного Академического союза. Схватки с «белоподкладочниками» сплошь и рядом доходили до рукопашной, особенно когда в дело вмешивалось «Кавказское землячество».

В кипении этих страстей уже чувствовалось приближение каких-то новых времен. И странным казалось, что тут же, в нескольких шагах, за дверями аудиторий, почтенные и седовласые профессора читают в скучноватой тишине лекции о торговых обычаях в ганзейских городах[2 - Ганзейские города. – Ганза – торговый и политический союз северных немецких городов в XIV–XVI вв. во главе с Любеком.] или сравнительном языкознании.

В те годы, перед Первой мировой войной, многие предчувствовали приближение грозы, но не могли предвидеть, с какой силой она обрушится на землю. Как перед грозой, было душно в России и в мире. Но гром еще не докатывался, и это успокаивало недальновидных людей.

Тревожные гудки в утренней мгле на окраинах Киева, когда бастовали заводы, аресты и ссылки, сотни прокламаций – все это были зарницы далекой грозы. Только чуткий слух мог уловить за ними ворчание грома. И потому первый его оглушительный удар летом 1914 года, когда началась мировая война, ошеломил всех.

Мы, гимназисты, когда вышли из гимназии, тотчас растеряли друг друга, хотя и поклялись никогда не делать этого. Накатилась война, потом пришла революция, и с тех пор я больше не встречал почти никого из своих однокашников. Где-то пропал весельчак Станишевский, доморощенный философ Фицовский, сдержанный Шмуклер, медлительный Матусевич и быстрый, как птица, Булгаков.

Я жил в Киеве один. Мама с сестрой Галей и братом Димой, студентом Технологического института, были в Москве. А старший брат Боря хотя и жил в Киеве, но мы с ним почти не встречались.

Боря женился на низкорослой пухлой женщине. Она носила фиолетовые японские кимоно с вышитыми журавлями. Все дни Боря просиживал над чертежами бетонных мостов. В его темной комнате, оклеенной обоями под дубовое дерево, пахло фиксатуаром. Ноги прилипали к крашеным полам. Фотографии всемирной красавицы Лины Кавальери были приколоты заржавленными кнопками к стене.

Боря не одобрял моего увлечения философией и литературой. «Надо пробивать дорогу в жизни, – говорил он. – Ты фантазер. Такой же, как папа. Развлекать людей – это не дело».

Он считал, что литература существует для развлечения людей. Я не хотел с ним спорить. Свою привязанность к литературе я оберегал от недоброго глаза. Поэтому я перестал ходить к Боре.

Я жил у бабушки на зеленой окраине Киева, Лукьяновке, во флигеле в глубине сада. Моя комната была заставлена вазонами с фуксией. Я занимался только тем, что читал до изнеможения. Чтобы отдышаться, я выходил по вечерам в сад. Там стоял резкий осенний воздух и горело над облетелыми ветками звездное небо.

Бабушка сначала сердилась и зазывала меня домой, но потом привыкла и оставила меня в покое. Она только говорила, что я провожу время без всякого «сенсу», иначе говоря – без смысла, и все это окончится скоротечной чахоткой.

Но что могла поделать бабушка с моими новыми друзьями? Что бабушка могла возразить Пушкину или Гейне, Фету или Леконту де Лилю, Диккенсу или Лермонтову?

В конце концов бабушка махнула на меня рукой. Она зажигала у себя в комнате лампу с розовым стеклянным абажуром в виде большого тюльпана и погружалась в чтение бесконечных польских романов Крашевского. А я вспоминал стихи о том, что «в небе, как зов задушевный, мерцают звезд золотые ресницы». И земля казалась мне хранилищем многих драгоценностей, таких, как эти золотые ресницы звезд. Я верил, что жизнь готовит мне много очарований, встреч, любви и печали, радости и потрясений, и в этом предчувствии было великое счастье моей юности. Сбылось ли это, покажет будущее.

А сейчас, как говорили в старинных театрах актеры, выходя к зрителям перед спектаклем: «Мы представим вам разные житейские случаи и постараемся заставить вас поразмышлять над ними, поплакать и посмеяться».

Небывалая осень

Я ехал из Киева в Москву в тесной каморке вагонного отопления. Нас было трое пассажиров – пожилой землемер, молодая женщина в белом оренбургском платке и я.

Женщина сидела на холодной чугунной печке, а мы с землемером по очереди отсиживались на полу – вдвоем поместиться там было нельзя.

Мелкий уголь хрустел под ногами. От него белый платок женщины вскоре сделался серым. За наглухо забитым окном – тоже серым, в высохших потеках от дождевых капель – ничего нельзя было разобрать. Только где-то под Сухиничами я увидел и запомнил огромный, во все небо, кровавый закат.

Землемер посмотрел на закат и сказал, что там, на границах, уже, должно быть, дерутся с немцами. Женщина прижала платок к лицу и заплакала: она ехала в Тверь к мужу и не знала, застанет ли мужа там, или его уже отправили на передовые позиции.

Я ехал попрощаться с братом Димой в Москву, его тоже призвали в армию. Меня в армию не взяли из-за сильной близорукости. Кроме того, я был младшим сыном в семье и студентом, а по тогдашним законам младшие сыновья, равно как и студенты, освобождались от военной службы.

Выйти из отопления на площадку вагона было почти невозможно. Мобилизованные вповалку лежали на крышах, висели на буферах и ступеньках. Станции встречали нас протяжным воем женщин, ревом гармошек, свистом и песнями. Поезд останавливался и тотчас прирастал к рельсам. Только два паровоза могли стронуть его, и то – тяжелым рывком.

Россия сдвинулась с места. Война, как подземный толчок, сорвала ее с оснований. По тысячам сел тревожно били колокола, возвещая мобилизацию. Тысячи крестьянских лошаденок везли к железным дорогам призывников из самых глухих углов страны. Враг вторгся в страну с запада, но мощный людской вал покатился навстречу ему с востока.

Вся страна превратилась в военный лагерь. Жизнь смешалась. Все привычное и устоявшееся мгновенно исчезло.

За долгую дорогу до Москвы мы втроем съели только одну окаменелую булку с изюмом и выпили бутылку мутной воды.

Поэтому, должно быть, воздух Москвы, когда я утром вышел из вагона на сырую платформу Брянского вокзала, показался мне душистым и легким. Кончалось лето 1914 года – грозное и тревожное лето войны, и в московском воздухе уже пробивались сладковатые и прохладные запахи осени – вялых листьев и застоялых прудов.

Мама жила в то время в Москве, как раз вблизи такого пруда на Большой Пресне. Окна квартиры выходили в Зоологический сад. Были видны красные кирпичные брандмауэры пресненских домов, избитые снарядами еще во времена декабрьского восстания пятого года, пустые дорожки Зоологического сада и большой пруд с черной водой. В полосах солнца прудовая вода отливала зеленоватым цветом тины.

Я никогда еще не видел квартиры, которая так вязалась бы с характером людей и с их жизнью, как мамина квартира на Пресне. Она была пустая, почти без мебели, если не считать кухонных столов и нескольких скрипучих венских стульев. В комнаты падала тень от старых почерневших деревьев, и потому в квартире всегда было сумрачно и холодно. Серые и липкие клеенки на столах были тоже холодные.

У мамы появилось пристрастие к клеенкам. Они заменяли прежние скатерти и настойчиво напоминали о бедности, о том, что мама бьется изо всех сил, чтобы хоть как-нибудь поддержать порядок и чистоту. Иначе она не могла бы жить.

Дома я застал только маму и Галю. Дима уехал в Граворново на полигон обучать стрельбе запасных солдат.

Лицо у мамы за те два года, что я ее не видел, сморщилось, пожелтело, но тонкие губы были по-прежнему крепко сжаты, будто мама давала понять окружающим, что она никогда не сдастся перед жизнью, перед происками мелких недоброжелателей и выйдет из всех передряг победительницей.

А Галя, как всегда, бесцельно бродила по комнатам, натыкалась по близорукости на стулья и расспрашивала меня о всяких пустяках – сколько теперь стоит билет от Киева до Москвы и остались ли еще на вокзалах носильщики, или их всех угнали на войну.

В этот приезд мама показалась мне спокойнее, чем раньше. Этого я не ожидал. Я не мог понять, откуда взялось это спокойствие в дни войны, когда Диму со дня на день могут отправить на фронт. Но мама сама выдала свои мысли.

– Сейчас нам, Костик, – сказала она, – гораздо легче. Дима прапорщик, офицер. Получает хорошее жалованье. Теперь я не боюсь, что завтра будет нечем

заплатить за квартиру.

Она беспокойно посмотрела на меня и добавила:

– На войне тоже не всех убивают. Я уверена, что Диму оставят в тылу. Он на хорошем счету у начальства.

Я согласился, что действительно на войне не всех убивают. Нельзя было отнимать у нее это шаткое утешение.

Глядя на маму, я понял, что значит тягость повседневного беззащитного существования и как нужен человеку надежный кров и кусок хлеба. Но мне стало не по себе от мысли, что она счастлива этим жалким благополучием, возникшим в семье за счет опасности для ее сына. Не может быть, чтобы она не сознавала этой опасности. Она просто старалась не думать о ней.

Вернулся Дима – загорелый, очень уверенный в себе. Он отстегнул и повесил в передней свою новенькую шашку с золоченым эфесом. Вечером, когда в передней зажгли электрическую лампочку, эфес заблестел, как единственная нарядная вещь в маминой убогой квартире.

Мама успела мне рассказать, что женитьба Димы на Маргарите расстроилась, так как Маргарита оказалась, по маминому выражению, «весьма неприятной особой». Я промолчал.

Через несколько дней Дима получил назначение в Навагинский пехотный полк. Дима собрался и уехал так быстро, что мама не успела опомниться. Только на второй день после его отъезда она впервые заплакала.

Димин эшелон грузился на запасных путях Брестского вокзала. Был ветреный день, нагоняющий скуку, – обыденный день с желтой пылью и низким небом. Всегда кажется, что в такие дни не может случиться ничего особенного.

Прощание с Димой было под стать этому дню, Дима распоряжался погрузкой эшелона. Он разговаривал с нами урывками и попрощался наспех, когда эшелон уже тронулся. Он догнал свой вагон, вскочил на ходу на подножку, но тотчас его закрыл встречный поезд. Когда поезда разошлись, Диму уже не было видно.

После отъезда Димы я перевелся из Киевского в Московский университет. Димину комнату мама сдала инженеру московского трамвая Захарову. До сих пор я не понимаю, что могло понравиться Захарову в нашей квартире.

Захаров учился в Бельгии, много лет прожил в Брюсселе и незадолго до Первой мировой войны вернулся в Россию. Это был веселый холостяк с седеющей подстриженной бородкой. Он носил просторные заграничные костюмы и пронзительные очки. Весь стол в своей комнате Захаров завалил книгами. Но среди них я не нашел почти ни одной технической. Больше всего было мемуаров, романов и сборников «Знания».

У Захарова я впервые увидал на столе французские издания Верхарна, Метерлинка и Роденбаха.

В то лето все восхищались Бельгией – маленькой страной, принявшей первый удар немецких армий. Всюду пели песню о защитниках осажденного Льежа.

Бельгия была разбита вдребезги в два-три дня. Над ней сиял ореол мученичества. Готические кружева ее ратуш и соборов обрушились и перетерлись в пыль под сапогами немецких солдат и коваными колесами пушек.

Я читал Верхарна, Метерлинка, Роденбаха, стараясь найти в книгах этих бельгийцев разгадку мужества их соотечественников. Но я не находил этой разгадки ни в сложных вархарновских стихах, отрицавших старый мир, как великое зло, ни в мертвых и хрупких, как цветы подо льдом, романах Роденбаха, ни в пьесах Метерлинка, написанных как бы во сне.

Однажды я встретил Захарова на Тверском бульваре. Он взял меня под руку и начал говорить о войне, о потрясенной культуре, о Бельгии. Говорил он с легким французским акцентом.

Великолепная осень стояла в те дни над Москвой. Деревья роняли золоченую листву на стволы орудий. Орудия и зарядные ящики стояли шеренгами вдоль московских бульваров, дожидаясь отправки на фронт.

Прозрачное, небывало густое и синее небо – дорога перелетных стай – простиралось над городом в сиянии тускнеющего солнца. И все сыпалась и сыпалась листва, заваливала крыши, тротуары, мостовые, шуршала под метлами

дворников, под ногами прохожих, как бы стараясь напомнить людям, что вокруг них все еще существует забытая ими земля, что, может быть, ради этой земли, ради слабого блеска сентябрьской паутины, ради ясности сухих и прохладных горизонтов, ради затишливых вод, вздрагивающих от упавшего с дерева кусочка коры, ради запаха желтеющей ракиты, ради всей этой шелестящей, необыкновенно прекрасной России, ради ее деревень, ее изб, курящихся молочным дымом соломы, синеватых речных туманов, ее прошлого и будущего, – ради всего этого все честные люди всего мира огромным совместным усилием остановят эту войну.

Я понимал, конечно, что надеяться на это нельзя, что все эти мысли, как любил говорить Боря, «сплошное донкихотство» и что поднявший меч на наш народ и его культуру, может быть, от этого меча и погибнет, но никогда добровольно не вложит его в ножны.

Война накатывалась все ближе своим неотвратимым ходом. Казалось, дым ее пожаров уже заволакивал небо Москвы. Потом мы узнали, что это был действительно дым пожаров, но только лесных, – под Тверью горели леса и сухие болота.

Утром я просыпался у себя в комнате – я спал на полу – и смотрел за окно. В небе пролетали листья и, качаясь, опускались на землю. Рама окна скрывала их от меня, и мне не удавалось проследить, куда они падают.

Я не мог избавиться от мысли, что этот медленный и долгий – изо дня в день – полет листьев, может быть, последний в моей жизни. И все казалось, что листья летят с запада на восток, спасаясь от войны.

Мне не стыдно сейчас сознаться в этих мыслях, – я был очень молод. Все окружающее было наводнено до краев лирической силой, исходившей, вероятно, от меня самого. Я же думал тогда, что такова сущность жизни.

– Так вот, мой друг, – сказал мне Захаров, – не пора ли вам бросить слоняться по окрестностям Москвы в вашем туманном состоянии. За эту неделю, как передавала мне Мария Григорьевна, вы уже успели смотаться в Архангельское и Останкино.

Слово «смотаться» Захаров сказал с особенным вкусом. Так он произносил все непривычные еще для него русские слова.

– Да, я был и в Архангельском и в Останкине, – сознался я. – О каком таком туманном состоянии вы говорите?

Захаров усмехнулся:

– Вы ведете себя так, будто мир существует только для того, чтобы наполнять нас интересными мыслями.

– Ну и что ж? – спросил я резко. Я начинал сердиться. Почему все, будто сговорившись, обвиняют меня в несерьезном, в мальчишеском отношении к жизни?

– Просто вы начитались до отрыжки современных поэтов, – сказал примирительно Захаров и с удовольствием повторил: – До отрыжки.

– Если судить по вашим книгам, вы тоже предпочитаете художественную литературу трамваю.

– Дело в том, – объяснил Захаров, – что Бельгия – классическая страна трамваев. И мистической поэзии. Меня выслали за границу еще гимназистом. Я попал в Бельгию, прижился там и окончил инженерный институт в Льеже. Но дело не в этом. Дело в войне. Вот, извольте!

Со стороны Страстной площади долетала музыка походного марша и гремело заглушенное протяжное «ура». Там выстроились перед отправкой на фронт запасные батальоны.

– Я только что был там, на площади, – добавил Захаров. – Я очень забыл Россию. Не по своей вине. Так вот, я протискался в первые ряды, чтобы посмотреть на солдат. От них сильно пахло хлебом. Удивительный запах! Услышишь его – и почему-то веришь, что русскому народу никто не сломит шею.

– А Бельгия? – спросил я.

– Что Бельгия? Я вас не понимаю.

Я усмехнулся и сказал первое, что пришло мне в голову:

– Почему бельгийцы так отчаянно дрались с немцами?

– О-ля-ля! – пропел Захаров. – Маленький народ живет памятью о прошлом величии. За это я его уважаю. Вот Метерлинк. Мистический поэт с туманными зрачками и туманными мыслями. Старый католический Бог его раздражает. Он просто груб для такой утонченной натуры, как Метерлинк. Поэтому он заменяет Бога потусторонним миром – это, конечно, несколько современнее и поэтичнее. Это более сильная отрава, чем религия. Все это так. Но, кроме того, Метерлинк – гражданин. Таково воспитание. Таковы традиции. Как гражданин, он берет своими мистическими пальцами винтовку и стреляет из нее так же хорошо, как любой королевский стрелок. Никому нет дела до расплывчатых мыслей Метерлинка-поэта. Но всем есть дело до Метерлинка-гражданина. Поэтому никто не вмешивается в его поэзию. Такова Бельгия. Да что говорить! Страна хорошая. Морской ветер продувает ее насквозь, и она полна веселых людей. Умеющих, кстати, работать. Что вы еще хотите знать о Бельгии? Пока ничего. Ну что ж, покончим с Бельгией и поговорим о более существенных для вас вещах.

Более существенной вещью для меня оказалось следующее: Захаров предложил устроить меня вожатым на московский трамвай. Дело в том, объяснил он, что почти всех вожатых и кондукторов взяли в армию. Нельзя оставлять огромный город во время войны без трамвая. Сейчас как раз идет наем новых вожатых и кондукторов.

Я опешил. Слишком резок был переход от Метерлинка к вожатому трамвая.

С гимназических лет я настойчиво думал о писательстве. Все перемены в жизни казались мне подготовительной школой для этого. Надо входить в жизнь, не брезгать ничем, – только так может накопиться жизненный опыт, создаться та кладовая, откуда я буду брать пригоршнями мысли, сюжеты, образы и слова.

К тому же я понимал, что сейчас нельзя уезжать от мамы. Надо побыть с ней и помочь ей. А здесь заработок сам шел в руки. И я согласился.

Когда я сказал маме и Гале, что поступаю вожатым на трамвай, мама только вздохнула и заметила, что она никогда не стыдилась никакой работы и приучила к этому и нас. А Галя начала волноваться – не убьет ли меня током.

– Я где-то читала, – испуганно сказала она, – про слона из цирка. Его сожгло трамвайным током. Может это быть или нет?

Я ответил, что все это чепуха.

Мне не сиделось дома, и я пошел в трактир на Кудринской улице. Он курился чайным паром.

Развязно, позванивая литаврами и бубенцами, гремел механический орган – трактирная «машина»:

Вот мчится тройка удалая

По Волге-матушке зимой…

За соседним столиком старый человек с поднятым воротником пиджака что-то писал, беспрерывно макая перо в чернильницу и снимая с него волоски.

Мне захотелось написать кому-нибудь из близких, из друзей о себе, о том, что жизнь переломилась и я буду работать вожатым на трамвае, но я тут же вспомнил, что писать мне совершенно некому.

Ямщик умолк, и кнут ременный

Повис в опущенной руке, —

гремела «машина», и в ответ ей звенели пустые стаканы.

Медная линия

Меня приняли вожатым в Миусский трамвайный парк. Но вожатым я работал недолго. Меня вскоре перевели в кондукторы.

Миусский парк помещался на Лесной улице, в красных почерневших от копоти кирпичных корпусах. Со времен моего кондукторства я не люблю Лесную улицу. До сих пор она мне кажется самой пыльной и бестолковой улицей в Москве.

Воспоминание о ней связано со скрежетом трамваев, выползающих на рассвете из железных ворот парка, с тяжелой кондукторской сумкой, натиравшей плечо, и с кислым запахом меди. Руки у нас, кондукторов, всегда были зелеными от медных денег. Особенно если мы работали на «медной линии».

«Медной линией» называлась линия «Б», проходившая по Садовому кольцу. Кондукторы не любили эту линию, хотя москвичи и называли ее с умилением «Букашкой». Мы предпочитали работать на «серебряной» линии «А» – на Бульварном кольце. Эту линию москвичи называли тоже ласково «Аннушкой». Против этого ничего возразить было нельзя, но называть «Букашкой» линию «Б» было просто нелепо.

Проходила она около многолюдных вокзальных площадей, по пыльным обочинам Москвы. Вагоны на линии «Б» были с прицепами. В прицепы разрешалось садиться с тяжелыми вещами. Пассажир на этой линии был больше с окраин – ремесленники, огородники, молочницы. Расплачивался этот пассажир медяками, серебро же припрятывал и не очень охотно вытаскивал его из своих кошелей и карманов. Поэтому эта линия и называлась «медной».

Линия же «А» была нарядная, театральная и магазинная. По ней ходили только моторные вагоны, и пассажир был иной, чем на линии «Б», – интеллигентный и чиновный. Расплачивался такой пассажир обыкновенно серебром и бумажками.

За открытыми окнами вагона линии «А» шумели листвой бульвары. Вагон медленно кружился по Москве – мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубного рынка, где никогда не умолкал птичий свист, мимо кремлевских башен, златоглавой громады храма Христа Спасителя и горбатых мостов через обмелевшую Москву-реку.

Мы выводили вагоны на линию ранним утром, а возвращались в парк в час ночи, а то и позже. В парке надо было сдать выручку артельщику. Только после этого

я мог уйти домой и медленно брел по ночной Москве, по Грузинам с пустой сумкой на плече. Никелированная бляха с кондукторским номером поблескивала на моей куртке в зеленом свете газовых фонарей. В то время электрические фонари горели только на главных улицах.

Вначале я долго возился ночью с подсчетом мелочи, но потом старый кондуктор Бабаев – мой наставник – научил меня, как избавляться от нее. С тех пор я начал привозить в парк только крупные бумажные деньги и немного серебра.

Прием был простой. Часа за два до возвращения в парк мы начинали безбожно спускать мелочь – сдавали сдачу с рубля одними медяками, а с трех рублей – одним серебром. Пассажиры иногда начинали ругаться. В этом случае мы тотчас уступали, чтобы не было лишней трамвайной распри. Такова была житейская мудрость Бабаева.

– Нынче пассажир, – говорил Бабаев, – слабонервный. Приходится делать ему послабление. Надо иметь благорасположение к пассажиру, а кой-кого даже и провезти бесплатно. Я, к примеру, по тому, как человек лезет в вагон, уже знаю, что он хочет проехать без билета. По выражению лица. Видишь, что человеку надо ехать, а он от тебя по вагону прячется, – значит, у него в кармане шиш. Так ты к такому пассажиру с билетом не приставай. Делай вид, будто ты ему билет уже выдал и даже с соответствующим надрывом. На каждом поприще надо проявлять снисхождение к людям, а в нашей кондукторской службе – особенно. Мы имеем дело со всей Москвой. А в Москве горя людского, как песка морского.

Бабаев обучил меня всем нехитрым тонкостям кондукторской службы – как надрывать билеты, какого цвета билеты соответствуют каждому дню недели (чтобы пассажиры не ездили со вчерашними билетами вместо сегодняшних), как сдавать вагон смотрителю парка, в каких местах города пассажиры чаще всего вскакивают на ходу и потому надо быть настороже, чтобы остановить вагон в случае какого-либо несчастья.

Бабаев обучал меня десять дней. После этого я держал экзамен на кондуктора. Самым трудным был экзамен на знание Москвы. Нужно было знать все площади города, улицы и переулки, все театры, вокзалы, церкви и рынки. И не только знать их по названиям, но и рассказать, как к ним проехать. В этом отношении тягаться с кондукторами могли только московские извозчики.

Трамвайной своей службе я обязан тем, что хорошо изучил Москву, этот беспорядочный и многоликий город со всеми его Зацепами, Стромынками, трактирами, Ножевыми линиями, Божедомками, больницами, Ленивками, Анненгофскими рощами, Яузами, вдовьими домами, слободами и Крестовскими башнями.

Экзаменовал нас на знание Москвы едкий старичок в длиннополом пиджаке. Он прихлебывал из стакана холодный чай и ласково спрашивал:

– Как бы покороче, батенька мой, проехать мне из Марьиной рощи в Хамовники? А? Не знаете? Кстати, откуда это взялось название такое пренеприятное – Хамовники?! Хамством Москва не славилась. За что же ей, первопрестольной, такой срам?!

Старичок свирепо придирался к нам. Половина кондукторов на его экзамене провалилась.

Провалившиеся ходили жаловаться главному инженеру трамвая Поливанову, великолепно выбритому, подчеркнуто учтивому человеку. Поливанов, склонив голову с седым пробором, ответил, что знание Москвы – одна из основ кондукторской службы.

– Кондуктор, – сказал он, – не только одушевленный прибор для выдачи билетов, но и проводник по Москве. Город велик. Ни один старожил не знает его во всех частях. Представьте, какая путаница произойдет с пассажирами трамвая, особенно с провинциалами, если никто не сможет помочь им разобраться в этом хитросплетении тупиков, застав и церквей.

Вскоре я убедился, что Поливанов был прав.

Меня назначили на линию № 8 – проклятую вокзальную линию, считавшуюся еще хуже, чем «Б». Линия эта соединяла Брестский вокзал с Каланчевской площадью, с ее тремя вокзалами – Николаевским, Ярославским и Казанским. Проходила восьмая линия через Сухаревскую площадь и по обеим Божедомкам.

Часто случалось, что у Ярославского вокзала вагон, как говорили кондукторы, «попадал под поезд» из Троице-Сергиевой лавры. В трамвай набивались богомолки-салопницы. Пробирались они в разные московские церкви, города не

знали, были бестолковы, как куры, и всего боялись.

И вот изо дня в день происходила одна и та же канитель: одной салопнице надо было к «Николе на курьих ножках», другой – к Троице-Капелькам, третьей – к Георгию на Всполье. Нужно было терпеливо объяснять им, как проехать к этим церквам, после чего старухи вытаскивали из карманов в нижних юбках платки с завязанными по уголкам деньгами. В одном уголке были копейки, в другом – семишники, в третьем – пятикопеечные монеты.

Салопницы долго развязывали зубами тугие узелки и скупо отсчитывали деньги. Впопыхах салопницы часто ошибались и развязывали не тот узелок. Тогда они снова затягивали его зубами и начинали развязывать другой.

Для нас, кондукторов, это было несчастьем. До Красных ворот мы должны были раздать все билеты. Старухи нас задерживали, билеты выдавать мы не успевали, а у Красных ворот нас подкарауливал сутяга-контролер и штрафовал за медленную работу.

Однажды Бабаев затащил меня к себе. Жил он с дочерью в покосившемся домишке у Павелецкого вокзала. Дочь его работала белошвейкой.

– Вот, Саня, – бодро крикнул с порога Бабаев, – привел тебе жениха.

Саня зашумела за перегородкой коленкором, но не вышла.

В низкой комнате висело несколько клеток, закрытых газетами. Бабаев снял газеты. В клетках тотчас запрыгали и запели канарейки.

– Я с канарейками отдыхаю от людского племени, – объяснил Бабаев. – Нас, кондукторов, пассажир не стесняется. Выказывает себя перед нами в наихудшем виде. Отсюда, понятно, и точка зрения у нас на человека подозрительная.

Бабаев был прав. Непонятно почему, но нигде человек не вел себя так грубо, как в трамвае. Даже учтивые люди, попав в трамвай, заражались сварливостью.

Сначала это удивляло, потом начало раздражать, но в конце концов стало так угнетающе действовать, что я ждал только случая, чтобы бросить трамвайную работу и вернуть себе прежнее расположение к людям.

Вошла Саня, костлявая девица, молча поздоровалась, поставила на стол граммофон с красной трубой, завела его, ушла и больше не появлялась. Граммофон запел арию из «Риголетто»: «Если красавица в любви клянется, кто ей поверит, тот ошибется». Канарейки тотчас замолкли и начали прислушиваться.

– Граммофон я держу для канареек, – объяснил Бабаев. – Обучаю их пению. Очень переимчивая птица.

Бабаев рассказал, что у канареечников есть в Москве свой трактир, куда они приносят по воскресеньям канареек и устраивают соревнования. Собираются послушать эти канареечные концерты большие любители. Были однажды даже Шаляпин[3 - Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – русский певец, режиссер, художник. С 1922 г. – за рубежом.] и миллионер Мамонтов[4 - Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) – русский капиталист и меценат.]. Люди, конечно, видные, знаменитые, но в канареечном пении они не разбирались, можно сказать, ни черта не понимали и цены канарейкам не знали. Хотели купить двух канареек за большие деньги. Но канареечники, хоть и с извинениями, продать отказались – нет смысла отдавать птицу в неопытные руки. Испортить ее ничего не стоит, а труд на нее положен большой. И канарейка к тому же не игрушка, она требует правильного обращения. Так Шаляпин с Мамонтовым и ушли ни с чем. Шаляпин напоследок как грянул басом, со зла должно быть, «Как король шел на войну», так канареечники кинулись птичек своих уносить из трактира – канарейка существо нервное, ее напугаешь – она петь совершенно бросит, и тогда грош ей цена.

Сухая осень сменилась обложными дождями. Это было, пожалуй, самое трудное время для кондукторов. Сквозняки в вагонах, липкая грязь на полах, засыпанных обрывками билетов, прелый запах мокрой одежды и слезящиеся окна, – за ними ползли вереницы темных деревянных домишек и исхлестанные дождем вывески оптовых складов.

В такие дни кондукторов раздражало все, в особенности дурацкая привычка пассажиров налеплять на окна старые раскисшие билеты и рисовать пальцем на потном стекле носатые рожи.

Вагон трамвая становился похожим на измызганное общежитие, где переругиваются случайные жильцы – пассажиры. Москва как бы съеживалась, пряталась под черные зонты и поднятые воротники пальто. Улицы пустели. Одна только Сухаревка шумела и ходила, как море, тусклыми человеческими волнами.

Трамвай с трудом продирался сквозь крикливые толпы покупателей, перекупщиков и продавцов. У самых колес зловеще шипели граммофоны, и Вяльцева зазывно пела: «Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом!» Голос ее заглушали примусы. Они нетерпеливо рвались в небо синим свистящим пламенем. Победный их рев перекрывал все звуки.

Звенели отсыревшие мандолины. Резиновые чертенята с пунцовыми анилиновыми щеками умирали с пронзительным воплем: «Уйди, уйди!» Ворчали на огромных сковородах оладьи. Пахло навозом, бараниной, сеном, щепным товаром. Охрипшие люди с наигранной яростью били друг друга по рукам.

Гремели дроги. Лошадиные потные морды лезли на площадку вагона, дышали густым паром.

Фокусники-китайцы, сидя на корточках на мостовой, покрикивали фальцетом: «Фу-фу, чуди-чудеса!» Надтреснуто звонили в церквах, а из-под черных ворот Сухаревой башни рыдающий женский голос кричал: «Положи свою бледную руку на мою исхудалую грудь».

Карманные воры с перекинутыми через руку брюками, вынесенными якобы для продажи, шныряли повсюду. Глаз у них был быстрый, уклончивый. Соловьями заливались полицейские свистки. Тяжело хлопая крыльями, взлетали в мутное небо облезлые голуби, выпущенные из-за пазухи мальчишками.

Невозможно рассказать об этом исполинском московском торжище, раскинувшемся почти от Самотеки до Красных ворот. Там можно было купить все – от трехколесного велосипеда и иконы до сиамского петуха и от тамбовской ветчины до моченой морошки. Но все это было с червоточиной, с изъяном, со ржавчиной или с душкой.

Это было всероссийское скопище нищих, бродяг, жуликов, воров, маклаков – людей скудной и увертливой жизни. Воздух Сухаревки, казалось, был полон только одним – мечтой о легкой наживе и куске студня из телячьих ножек.

То было немыслимое смешение людей всех времен и состояний – от юродивого с запавшими глазами, гремящего ржавыми веригами, который ловчится проехать на трамвае без билета, до поэта с козлиной бородкой в зеленой велюровой шляпе, от толстовцев, сердито месивших красными босыми ногами сухаревскую грязь, до затянутых в корсеты дам, что пробирались по этой же грязи, приподымая тяжелые юбки.

Однажды в дождливый темный день в мой вагон вошел на Екатерининской площади пассажир в черной шляпе, наглухо застегнутом пальто и коричневых лайковых перчатках. Длинное, выхоленное его лицо выражало каменное равнодушие к московской слякоти, трамвайным перебранкам, ко мне и ко всему на свете. Но он был очень учтив, этот человек, – получив билет, он даже приподнял шляпу и поблагодарил меня. Пассажиры тотчас онемели и с враждебным любопытством начали рассматривать этого странного человека. Когда он сошел у Красных ворот, весь вагон начал изощряться в насмешках над ним. Его обзывали «актером погорелого театра» и «фон-бароном». Меня тоже заинтересовал этот пассажир, его надменный и вместе с тем застенчивый взгляд, явное смешение в нем подчеркнутой изысканности с провинциальной напыщенностью.

Через несколько дней я освободился вечером от работы и пошел в Политехнический музей на поэзо-концерт Игоря Северянина[5 - Северянин Игорь (наст. имя и фамилия Игорь Васильевич Лотарев; 1887–1941) – русский поэт, «эгофутурист». После 1917 г. эмигрировал.].

«Каково же было мое удивление», как писали старомодные литераторы, когда на эстраду вышел мой пассажир в черном сюртуке, прислонился к стене и, опустив глаза, долго ждал, пока не затихнут восторженные выкрики и аплодисменты.

К его ногам бросали цветы – темные розы. Но он стоял все так же неподвижно и не поднял ни одного цветка. Потом он сделал шаг вперед, зал затих, и я услышал чуть картавое пение очень салонных и музыкальных стихов:

Шампанское – в лилию, в шампанское – лилию!

Ее целомудрием святеет оно!

Миньон с Эскамильо, Миньон с Эскамильо!

Шампанское в лилии – святое вино![6 - «Шампанское – в лилию, в шампанское – лилию!..» — Из стихотворения И. Северянина «Шампанский полонез». В оригинале: «Шампанского в лилию, шампанского в лилию…»]

В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия извлекалась из слов, не имевших смысла. Язык существовал только как музыка. Больше от него ничего не требовалось. Человеческая мысль превращалась в поблескивание стекляруса, шуршание надушенного шелка, в страусовые перья вееров и пену шампанского.

Было дико и странно слышать эти слова в те дни, когда тысячи русских лежали в залитых дождями окопах и отбивали сосредоточенным винтовочным огнем продвижение немецкой армии. А в это время бывший реалист из Череповца, Лотарев, он же «гений» Игорь Северянин, выпевал, грассируя, стихи о будуаре тоскующей Нелли.

Потом он спохватился и начал петь жеманные стихи о войне, о том, что, если погибнет последний русский полководец, придет очередь и для него, Северянина, и тогда, «ваш нежный, ваш единственный, я поведу вас на Берлин».

Сила жизни такова, что переламывает самых фальшивых людей, если в них живет хотя бы капля поэзии. А в Северянине был ее непочатый край. С годами он начал сбрасывать с себя мишуру, голос его зазвучал человечнее. В стихи его вошел чистый воздух наших полей, «ветер над раздольем нив», и изысканность сменилась лирической простотой: «Какою нежностью неизъяснимою, какой сердечностью осветозарено и олазорено лицо твое»[7 - «Какою нежностью неизъяснимою…» — Из стихотворения И. Северянина «К черте черта».].

Мне редко удавалось освободиться по вечерам. Все дни и часть ночи проходили в изнурительной работе, всегда на ногах, в скрежете, спешке, и я, так же как и все кондукторы, очень уставал от этого. Когда мы слишком изматывались, то просили у нашего трамвайного начальства перевести нас на несколько дней на

«паровичок» – паровой трамвай. Он ходил от Савеловского вокзала в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию. Это была самая легкая, а на кондукторском языке – самая «дачная» линия в Москве.

Маленький паровоз, похожий на самовар, был вместе с трубой запрятан в коробку из железа. Он выдавал себя только детским свистом и клубами пара. Паровоз тащил четыре дачных вагона. Они освещались по вечерам свечами, электричества на «паровичке» не было.

Я работал на этой линии осенью. Быстро раздав билеты, я садился на открытой площадке и погружался без всяких мыслей в шелест осени, мчавшейся по сторонам «паровичка». Березовые и осиновые рощи хлестали в лицо сыростью перестоявшегося листа.

Потом рощи кончались, и впереди вспыхивал всеми красками увядания великолепный парк академии. Золотое молчание стояло в нем. Громады лип и кленов, переплетаясь с лимонной бледностью осин, открывались перед глазами, как преддверие пышного и тихого края. Там осень по разнообразию и обдуманности раскраски была подчинена воле и таланту человека. Этот парк был насажен знаменитыми нашими ботаниками, мастерами садового искусства.

С детских лет одна страсть завладела мной – любовь к природе. Временами она приобретала такую остроту, что пугала моих близких. Когда я возвращался осенью в гимназию из Брянских лесов или из Крыма, у меня начиналась жестокая тоска по прожитому лету. Я худел на глазах и не спал по ночам. Я скрывал это свое состояние от окружающих. Уже давно я убедился, что, кроме недоумения, оно ничего не вызывает. Это было как раз то «несерьезное», что, по мнению близких, коренилось во мне и мешало мне жить.

Как я мог объяснить им, что в этом моем ощущении природы было нечто большее, чем удивление перед ее совершенством, что это было не бесцельное любование, а сознание среды, без которой человеку нельзя работать в полную меру сил. Люди обычно уходят в природу, как в отдых. Я же думал, что жизнь в природе должна быть постоянным состоянием человека.

Я вспомнил об этом сейчас потому, что осенью 1914 года я с особой остротой испытывал чувство содружества с природой. Она тоже была поставлена под удар войны, но не здесь, в Москве, а там, на западе, в Польше, и от этого любовь

к ней становилась сильнее и все больше щемила сердце.

Я смотрел, как дым из трубы «паровичка» обволакивал желтеющие рощи. По вечерам за ними слабо горело голубоватое зарево Москвы. Видение этих подмосковных рощ вызывало множество мыслей о России, Чехове, Левитане, о свойствах русского духа, о живописной силе, таившейся в народе, его прошлом и будущем, которое должно быть и, конечно, будет совершенно удивительным.

Мимо войны

Сейчас, когда со времени Первой мировой войны прошло почти полвека, я вспоминаю об этом совсем еще близком времени, как о чем-то очень давнем, тонущем в тумане прошлого.

Как будто гремящее и бурное столетие легло между двумя полосами жизни. Все переместилось. Все сдвинулось, как от внезапного удара. Теперь мы усмехаемся над тем, что раньше казалось нам важным. Мы прощаем себе былое легкомыслие и неумение разбираться в хитросплетениях жизни, в общественных отношениях, в самих себе. Сейчас мы относимся ко всему, что было до семнадцатого года, как к детству, хотя людям моего поколения было в то время уже больше двадцати лет.

Война 1914 года не завладела сознанием так окончательно, как все, что случилось после нее. В России в то время существовала жизнь, которая шла мимо войны. Аудитории Политехнического музея ломились от публики, когда выступали футуристы или Игорь Северянин. Рабиндранат Тагор владел умами. Художественный театр в жестоких муках искал нового Гамлета. В Москве продолжались литературные «среды» в доме писателя Телешова[8 - Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957) – русский советский писатель. В 1899 г. организовал литературный кружок «Среда», сыгравший заметную роль в развитии русской литературы начала XX в.], но писатели на этих «средах» мало говорили о войне. Религиозная философия, богоискательство, символизм, призыв к возрождению эллинской философии – все это существовало рядом с передовой революционной мыслью и пыталось завладеть умами.

Я вышел из среды средней интеллигенции. Мой отец был статистиком. Как большинство статистиков в те времена, отец был либералом.

С раннего детства я слышал от отца и его друзей слова о свободе, неизбежности революции и обездоленном народе.

Все эти речи произносились главным образом в столовой за чаем, причем каждый раз мама предостерегающе показывала глазами на нас, детей, и говорила отцу:

– Георгий, ты, как всегда, увлекаешься.

Народом – многомиллионным, страдающим, обездоленным – было в моем представлении крестьянство. О рабочих я слышал мало. Слово «пролетариат» редко произносилось в нашей среде. Иногда говорили о «мастеровых», о «фабричных», и с этими понятиями были связаны для меня киевские окраины, тесные бараки и забастовки.

Всякий раз, когда я слышал эти слова – «пролетариат» и «рабочий класс», я почему-то думал, что весь пролетариат сосредоточен у нас в России только в дымном Петрограде, на огромных заводах, таких как Путиловский и Обуховский.

Эти наивные детские представления и страстное увлечение мое литературой привели к тому, что примерно до Февральской революции я ничего толком не знал о революционном движении.

В то время под словом «революционер» я понимал и видел нечто отчаянно смелое, непреклонное и самоотверженное.

Но нельзя сказать, что революционное движение совсем прошло мимо моей молодости. Я был свидетелем событий 1905 года, хорошо знал весь внешний ход декабрьского восстания в Москве, события на Казанской дороге, восстание «Потемкина» и «Очакова», преклонялся перед лейтенантом Шмидтом. Но меня прежде всего захватывала романтическая сторона революционных событий – подкопы, подпольные типографии, динамит, адские машины, бегство из ссылки, пламенные речи.

Внутренняя же сущность событий долгое время сводилась к очень расплывчатому понятию, которое можно определить как «борьбу за свободу».

С такими представлениями я дожил до войны 1914 года. Только с начала войны я начал осознавать те общественные события, какие шли в России.

В 1914 году Москва была глубоким тылом. Только обилие раненых, бродивших по городу в коричневых халатах, да траурные платья женщин напоминали о войне.

Однажды я пробрался на одну из литературных «сред». Писатели собирались в старом особняке в переулке около Грузин.

Я сел в заднем ряду и просидел, не вставая, до конца вечера. Я боялся, что меня заметят и попросят уйти, и чувствовал себя как безбилетный пассажир, хотя вокруг меня сидело несколько таких же юношей, как и я. Юноши эти держались свободно, и от этого я еще больше смущался.

Лицо у меня горело – впервые я видел так близко писателей. Я не мог избавиться от мысли, что хотя они и одеты в обыкновенные пиджаки и произносят те же самые слова, что и мы, простые смертные, но все же нас отделяет от них огромное расстояние. Имя этому расстоянию – талант, свободное владение мыслью, образом и словом – все то, что казалось мне в ту пору почти колдовством. На каждого писателя я смотрел, как на прямого наследника Тургенева, Чехова, Толстого, как на хранителя традиций русской поэзии и прозы.

Тогда я никак не мог согласиться с пушкинскими словами, что по временам и писатели и поэты бывают ничтожнее всех «меж людей ничтожных мира»[9 - «…меж людей ничтожных мира». – Из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт».]. Я не мог отделить писателя от всего, им написанного.

Поэтому я с одинаковым волнением смотрел на остриженного по-кучерски Алексея Толстого, на взъерошенного Ивана Шмелева[10 - Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – русский писатель. В 1922 г. эмигрировал.], похожего на землемера, на тишайшего Зайцева и на ледяного Бунина, читавшего глуховатым голосом рассказ «Псальма».

Я надеялся увидеть на «среде» Максима Горького. Но его не было.

Рядом со мной сидел пожилой, как будто весь сделанный из морщин и, должно быть, чахоточный человек. Он кашлял в темный платок, глаза его блестели – у него, очевидно, был жар. Он следил за каждым словом, долетавшим с возвышения, где сидели писатели, потом обернулся ко мне и сказал:

– Ох, и хороша Россия! Ох, и хороша!

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

«Если б нынче свой путь…» — Из стихотворения французского поэта П.-Ж. Беранже «Безумцы» в переводе В. Курочкина. В оригинале: «Если б только земли нашей путь…»

2

Ганзейские города. – Ганза – торговый и политический союз северных немецких городов в XIV–XVI вв. во главе с Любеком.

3

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938) – русский певец, режиссер, художник. С 1922 г. – за рубежом.

4

Мамонтов Савва Иванович (1841–1918) – русский капиталист и меценат.

5

Северянин Игорь (наст. имя и фамилия Игорь Васильевич Лотарев; 1887–1941) – русский поэт, «эгофутурист». После 1917 г. эмигрировал.

6

«Шампанское – в лилию, в шампанское – лилию!..» — Из стихотворения И. Северянина «Шампанский полонез». В оригинале: «Шампанского в лилию, шампанского в лилию…»

7

«Какою нежностью неизъяснимою…» — Из стихотворения И. Северянина «К черте черта».

8

Телешов Николай Дмитриевич (1867–1957) – русский советский писатель. В 1899 г. организовал литературный кружок «Среда», сыгравший заметную роль в развитии русской литературы начала XX в.

9

«…меж людей ничтожных мира». – Из стихотворения А.С. Пушкина «Поэт».

10

Шмелев Иван Сергеевич (1873–1950) – русский писатель. В 1922 г. эмигрировал.

Купить: https://tellnovel.com/ru/konstantin-paustovskiy/bespokoynaya-yunost

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить